

ЕЛЕНА ТУЛУШЕВА



ДОМОЙ

РАССКАЗЫ

Баден. Городок будто из сказки. Идеальнее не бывает. Разноцветные домики под черепичными крышами, вымощенные булыжником улочки, колокольчики на дверях. К обеду городок наполнится запахами жареных пшеницелей, официанты вынесут дымящиеся тарелки разомлевшим от весеннего солнца посетителям за уличными столиками, практиканты займут лавочки на бульваре, уплетая брецели. А на нижнем этаже кафе на центральной площади в полдень по понедельникам и средам компания ленивых старичков играет в преферанс — на деньги. Возле каждого выстраиваются аккуратные столбики монет по евроценту, азарт в таком деле важен! Их более активные сверстники малыми группами или поодиночке каждый день покоряют гористый парк: в полной экипировке, солнечных очках и со спортивными палочками. Воздух в парке волшебный, чистота природная, на каждом повороте развешены набитые цельными орехами сетки — кормушки для белок. Даже

ТУЛУШЕВА Елена Сергеевна родилась в 1986 году в Москве. Как прозаик дебютировала в 2014 году в журнале “Наши современники”. В 2015 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького. Автор книг рассказов “Чудес хочется!” (2016), “Виною выжившего” (2016) “Первенец” (2018) и около 100 публикаций в “Литературной газете”, журналах “Наши современники”, “Юность”, “Роман-газета”, “Москва” и др. ведущих российских изданиях, а также в русскоязычных журналах Германии, Канады, Беларуси, Казахстана, Украины и Эстонии. Рассказы Тулушевой переведены на арабский, венгерский, итальянский, китайский, болгарский, сербский. В 2018 году вышла книга рассказов Е. Тулушевой в переводе на белорусский. Лауреат V и VII Международных форумов славянских литератур “Золотой Витязь” (2014, 2016), премий “В поисках правды и справедливости” (2015, 2016), “Югра” (2017), “Прохоровское поле” (2017), российско-итальянской премии “Радуга” (2017) и др. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

в парке этого малюсенького городка всюду указатели, инструкции, телефоны экстренных вызовов. Туда не ходи, сюда ходи... Все должно быть по предписанию.

Все здесь ровно, размеренно. На работу опоздать сложно. То есть можно исхитриться — но это, считай, провалил дело. Отговорка “задержался автобус” будет звучать крайне странно. Автобус придет ровно в то время, которое указано на табло. Изо дня в день, месяц за месяцем, год за годом...

Запись в префектуру. Очередь, как обычно. Талончики. Вокруг одни арабы. Новые жители Европы. Тоже люди, понятное дело. Только что же они не моются? Весна на улице, а они так и сидят в дубленках. Окна закрыты наглухо, дышать нечем. Ничего, справимся. У нас уже иммунитет к вашей системе выработался за полтора года. Это ж подумать только: одиннадцать месяцев после свадьбы жили в разных странах! И какое вам было дело до дохода моего мужа и его жилищности? Спасибо, что озаботились, чтобы муж-европеец привез свою жену не в халупу, а в нормальное жилье, но мы могли бы уж как-нибудь сами разобраться! О, завелась опять. Спокойно, Даша. Дышим. Осталось всего два человека впереди.

Это уже третья попытка. Бог троицу любит. Только бы не развернули. Дедуля умирает, домой попасть надо. А чтобы назад пустили, этот штамп в паспорт получить необходимо. Новый паспорт “счастливой европейки” готовить еще год могут, а домой надо съездить сейчас. С первых двух раз мы друг друга не поняли. Действительно, куда я собралась, дед же не умер еще, значит не на похороны, не его донор (я бы с удовольствием, только нельзя поделиться молодостью) — значит не экстренная ситуация. И связь только через поколение, тут три фамилии разных, извольте доказать родство. Да и зачем мне туда в Россию, когда я замужем здесь, в прекрасной стране, и мне должны выдать паспорт через месяц-другой! Неужели дед подождать не может? Не говорите, удивительно эгоистичны эти старики...

Дедуля, ты продержись еще, родной, я обязательно приеду. Не уходи без меня, миленький. Ты же... ты же мне ближе всех, подожди чуть-чуть. Деда, как в детстве. Уткнуться в тебя и плакать-плакать о несправедливостях мира. А ты гладишь по голове, обнимаешь, что-то бормочешь шепотом. Ты как будто один по-настоящему понял про Йозефа. Хотя Наташка сказала, что ты, наверное, уже совсем не в себе был, раз одобрил мой брак с потомком фашистов. Дура она, даром что сестра родная. Ей хоть доказательства приведи, что он вообще из австрийских евреев, бабка в лагере едва выжила. Нет же, как заладит. Невыносима стала. А сколько раз в детстве ты нас разнимал, помнишь? Все говорил, самые близкие мы с ней, держаться друг за друга надо. Куда там, и десятой части, чем с тобой делилась, не расскажу ей. Не поймет...

Зазвонил телефон. На экране высветилось: Хайбс. Хозяин квартиры. Ох, не к добру. Пунктуальные педантичные австрийцы, они не будут названивать своим арендаторам, приезжать в сдаваемое жилье с проверками или тем более, как у нас любят, оставлять там свои вещи! Даже если оплата не поступила в срок, они напишут письмо... Раз звонит — значит что-то не так. Очередь двигается медленно...

— Добрый день, херр Хайбс!

Как всегда чрезмерно вежливый: как дела, как здоровье, как в квартире... Давай уже, рассказывай, с чем звонишь?

На том конце вежливая пауза:

— Фрау Шольманн, я несколько обеспокоен. Мне звонила фрау Рутберг...

О, можешь не продолжать! Началось. Старая дева, мерзотная баба! Значит, решила через тебя продавливать.

— Она все еще жалуется, что вы мешаете ей спать, стуча дверями и принимая душ после полуночи. У нее появились проблемы со сном, из-за чего утром она совершенно не может подняться на работу.

У нее не со сном проблемы, а с личной жизнью! Неудивительно: с таким характером и вечно поджатыми в злобной улыбке губами — кому нужна такая мегера.

— Я озвучил ей, что это, видимо, недоразумение, ведь мы с вами обсуждали эту ммм... проблему в прошлом и в позапрошлом месяце и, как мне казалось, смогли договориться о соблюдении тишины. Я абсолютно уверен, что вы не хотели причинять неудобство фрау Рутберг.

Неудобства? Да я б ее прибила, была б моя воля, отравила бы поганую тетку, вечно лезущую со своими "правилами нашего дома"!

— Но я вынужден вас настоятельно просить о соблюдении тишины после девяти часов вечера.

Да, пусть еще скажет, в какое время мне спать ложиться, и сколько раз за ночь можно сходить в туалет! Она, видите ли, слышит, как работает наш водопровод! Ей бы в разведчицы пойти! Небось, понимала б английский — и наши разговоры бы ее возмущали!

— В противном случае, фрау Рутберг готова обращаться в совет дома...

О, еще один волшебный бюрократический орган. И оттуда уже на мозг капали.

— Мне бы не хотелось, чтобы зашло так далеко, вы понимаете меня?

— Да, конечно, херр Хайбс, я вас поняла. У мужа была рабочая командировка, и я поздно встречала его в аэропорту. Мы всегда стараемся входить тихо. К сожалению, слышимость в доме очень хорошая.

— Да-да, вы говорили. Странно, раньше жильцы не жаловались... Понимаете ли, мы здесь привыкли очень рано ложиться и рано вставать.

Опять это намек — "мы здесь", а я, конечно, "не здесь"...

— Вы очень приятная пара... И мне бы не хотелось, чтобы совет дома вынудил меня расторгнуть с вами контракт.

Что?! Из-за этой старой мегеры расторгнуть контракт?

— Ведь соблюдение правил тишины является обязательным пунктом договора...

— Конечно, херр Хайбс, я поняла вас. Мне очень жаль, что мы доставили неудобства фрау Рутберг. Йозеф поговорит с ней, и мы обязательно придем к согласию.

— О да, это было бы замечательно. Хорошего дня, фрау Шольманн!

Да, чувствую, просто шикарный у меня день будет...

— Спасибо, херр Хайбс! И вам приятного дня!

Даша, хоть и по-русски, но все же шепотом выругалась в экран телефона, представляя физиономию противной соседки. Даше, похоже, единственной было понятно, что причина не в шуме: до ее переезда соседка очень тепло, даже, пожалуй, слишком тепло, относилась к Йозефу, несмотря на его регулярные попойки с друзьями. Набилась ему в "мамочки", старая дева. А тут приехала даже не девушка — жена, да еще и русская! Хоть и фонтанируют нынче европейцы толерантностью, но фрау Рутберг не успела замаскировать свое возмущение и даже, пожалуй, брезгливость за поджатой улыбкой. Правда иногда... иногда Даше начинало казаться, что она сама так и не смогла ощутить себя здесь своей. Как будто это ей не хватало пресловутой толерантности ко всему, что окружало...

Днём мысли о чужом и чуждом она разгоняла имитацией активной деятельности. Особенно в начале своей жизни в Бадене: то передвинет мебель, то купит новую скатерть, то развесит журавликов из бумаги. На Новый год нарисовала елку прямо на стене. (Йозеф улыбнулся, конечно, но все же уточнил, смывается ли краска, а то ж контракт аренды...) Иногда ходила на целый день в термы, особенно первые недели — какое блаженство, за такие копейки недельный абонемент, как один московский поход в кино! Каскады бассейнов с каналом на улицу. Вот она — Европа! Вечерние огни, сверху осенний туман, над водой стелется пар. А ты лежишь в теплом джакузи, медитируя под шуршание фонтанов.

Часто выбиралась в Вену, благо трамвай (так похожий на наш, московский, жаль только, совсем не гремящий) соединял их малюсенький городок со столицей всего за сорок минут. Шумная центральная улица, толпы туристов, сверкающие витрины сувенирных лавок, каток на главной площади... Постепенно и это начало приедаться. Тогда она стала ездить на окраину Вены в огромные торговые центры, пустовавшие днем. Ходила и представляла,

какую бы музыку она запускала в каждом магазинчике, будь она директором. Вот домашний текстиль, вам подойдет Шостакович, надо поднимать эмоциональный настрой пенсионерок. А вот книжный, здесь что-то современное, но совсем приглушенное, почти невнятное, можно из ее юности, Моби. Книголюбам нужно аудиопространство для своих мыслей, не давите на творческих людей...

Глупо, конечно, по московским меркам это попросту сливание времени, а что прикажете делать, пока паспорт не дали, официально работать она не может. А неофициально попробовала было, на объявление в интернете тут же откликнулись русские мамочки, желающие нанять выпускницу консерватории своим чадам в училки. Она с такой радостью показала их письма Йозефу, но он очень твердо попросил не рисковать: “Что скажут люди, если узнают? Фрау Шольманн работает по-черному!” И все равно ему, что вся русская диаспора только на том и держится здесь, что нанимает друг друга по-черному. Откуда ему знать про русскую диаспору! И вообще — она собиралась интегрироваться, а не держаться привычек низкоквалифицированных иммигрантов. Вот и пришлось затыкать растущую дыру хоть чем-то.

Ночью, когда Йозеф тихо спал рядом, а она все ворочалась, особенно остро накаtywало это детское ощущение потерянности, как будто тебя привели в новый класс, новую школу, и все такие злобные, или в лучшем случае тебя просто игнорируют... И придется самой разбираться в их правилах и обычаях, в их дружеских коалициях, в учителях. И как же не хочется, как боязно это, а поддержаться, спрятаться не за кого. Мама работает сутками, а дедуля привел и ушел домой, заберет только после обеда... А теперь и после обеда никто не заберет. Она здесь насовсем. Одна.

На табло регистратуры загорелся Дашин номер. Надо идти. Она рассеянно прижала к груди папку с документами и поплелась к своему окошку. Ничего приятного сегодня, похоже, не предвидится.

Даша не шла, а как будто летела из здания префектуры, боясь признаться себе в радости. Ей казалось, она ехала не прощаться, а просто увидиться с дедулей, домой ехала. Не была там уже полгода, а теперь вот повод... горький. Но домой!

Йозеф воспринял ее радость сдержанно. Удивился, зачем лететь на неделю, если только попрощаться: “Не будешь же ты там сидеть и ждать, когда он умрет, это как-то нехорошо”. И непонятно было это его “нехорошо” — про что именно оно. Эх, не важно. Она получила нужную печать. Уже стоя на ступенях, полчаса потратила, чтобы купить через сайт билеты, хотя удобнее было бы за компьютером, чем ковыряться с телефоном, тем более что домой идти пятнадцать минут, не больше. Но все хотелось сделать скорее, как будто кто-то мог еще помешать. Она по инерции зашла в аптеку, шагнула к знакомой полке, потянулась было... Внутри гулко отозвалось: “Теперь уже не надо...”

Каждую свою поездку она привозила деду новейшие ноотропы, чтобы хоть как-то поддерживать кровоснабжение мозга. Каких трудов стоило выбить разрешение на покупку (здесь без рецепта сможешь добыть разве что леденцы от кашля да аспирин). Сначала рецепты из Москвы, потом нотариальные переводы, подтверждения в австрийской клинике, выписки, страховки, вся эта бесконечная бумажная волокита... Но оно того стоило! Дед после каждого курса преображался, молодел лет на десять, с удовольствием читал, делился своими наблюдениями, меньше повторял древние истории, снова подсмеивался над собой.

Знакомый фармацевт поприветствовал Дашу. Она машинально кивнула в ответ, зачем-то невнятно пробурчала, что забыла рецепт, и торопливо вышла.

* * *

Дед лежал на любимом своем, давно продавленном диване. Не дал выбросить его еще лет восемь назад: “Все равно скоро помирать, уж не заставляйте старика привыкать заново”. В комнате пахло ускользающей жизнью.

Так пахнет утром в сентябре уходящим летом. Или еще ярче в марте: до весны с ее поющими птицами, каплями и гормонами еще недели две, а зима печально уходит, и мир будто брошен, остается между двумя временами года. И люди, потерянные, озадаченно высматривают в окнах вестники нового сезона. И вроде надоел старый, но и подвисать вот так “где-то между” не хочется. И все какие-то недоспавшие, неуверенные, ждут сигнала свыше, когда природа снова о них вспомнит.

Дедуля... Кто же теперь придет на смену. Кто будет... даже не то что рядом, нет. Давно уже не плакала тебе в жилетку, давно не набирала твой номер дрожащими от обиды пальцами, не слышала с первых всхлипов: “Ду-дочка моя, кто обидел?” Давно уже веду с тобой диалог в душе, а не по телефону. Тот, мудрый, рассудительный, последние годы все таял потихоньку, растворялся, но в душе у меня оставался дедулей, который и во дворе защитит, и про папу вздохнет вместе, и слова найдет нужные. Достаточно было просто знать, что ты есть, существуешь, а общаться можно и в мыслях. Но при этом ты все равно был, жил, пусть и все меньше осознавая реальность. А теперь... теперь ты уходишь и физически. И уже себя не обманешь, тебя совсем не станет...

— Дедуль, привет! — Даша не знала, что говорить дальше. Просто присела рядом и погладила деда по холодной, сморщившейся руке. Что не скажешь — все слишком глупо в такой момент.

— А... ну та... — прошелестел дед и как будто улыбнулся, — ну та...

— Дедуля, узнаёшь? — Даше стало тепло, дед, давно уже вставший в забвение, смотрел на нее и как будто вспоминал. Сейчас ей хотелось, чтобы он сказал как можно больше, чтобы слова эти унести, увезти с собой, уложить в душе, перебирать с трепетом, возвращаться к ним с нежностью, когда тяжело. Хотя бы от деда получить этот “клад”, ведь с папой попрощаться не удалось.

Папа умер в доме чужой женщины, и другая маленькая девочка держала его за руку и слушала его последние слова. Даша все это узнала лишь годы спустя. Так и не простила — сама не знала, кого больше: папу, который бросил дважды, сначала уйдя из семьи, а потом уйдя из жизни. Или маму, которая знала, где умирал отец, ездила к нему, а дочерей не взяла, не дала попрощаться, думала, скроет от них другую его жизнь.

Может, и права была мама. Ни Даша, ни Наташа не испытали бы в тот момент радости от того, что у отца была еще одна дочь, о которой он молчал. Впрочем, после смерти отца об этом также не говорили. Правда выяснилась, но обсуждать ее или делать с ней что-то не хотелось. Слишком тяжело было в тот момент само осознание папиной смерти, чтобы еще переварить ревность и боль от предательства.

Даже родители отца тактично молчали, продолжая тепло общаться с внуками от законной жены, помогать и советом, и деньгами. Дед был готов выслушать, обнять, успокоить. Когда показывал свои ордена, всегда прибавлял: “Гордость, она ни к чему. Я их заслужил, я и распоряжаться ими могу. Заберете себе после моей смерти. Поровну разделите. Если так у вас в жизни сложится, что нужны будут деньги — вспомните о деде, продадите. Это и будет моя вам помощь отсюда. Это не стыдно, это мое вам завещание, чтобы знали, чувствовали защиту деда”.

Даша никогда не задумывалась, бывала ли и третья внучка в их доме, показывал ли дед ей свои награды. Той как будто не существовало в мире Даши. Она жестко пресекала попытки матери пожаловаться на несправедливость мира, на мужиков этих неверных. Особенно маму “накрывало” при обсуждении жилья. Нет-нет да и вернет, что, мол, как хорошо, что квартира была только на нее записана, а то пришлось бы не двум дочерям ее делить, а “сама знаешь с кем судиться”.

— А... ну та.

— Да, дедуль? Воды дать? — Даша погладила влажный лоб. Дед был такой маленький, едва ощутимый. Она поднесла стакан с трубочкой, аккуратно придерживая голову деда. Чтобы отогнать щемящее чувство потери, начала сбивчиво и быстро рассказывать какие-то эпизоды детства. Все путалось,

мешалось. Но ей хотелось говорить, говорить, не смолкая, только не было бы этой тишины и натянутых попыток деда что-то произнести.

— Анюта, — дед произнес это настолько четко, что Даша на мгновение растерялась, не поверив.

— Деда, это я — Даша! Даша, дедуль! Это я, твоя внучка, дудочка.

Дед чуть заметно улыбнулся.

— Дашенька хорошая, — едва слышно зашептал он. — Ты с ней подружилась? Анюта, папа хотел, чтобы ты с Дашенькой... подружилась.

Даша замерла, оглушенная. *Не узнал?! Не...*

Она улыбнулась дрожащими губами.

— Я люблю тебя, дедуля. Очень люблю.

Крепко сжала ледяную руку, поднялась и, отсчитывая глубокие вдохи, вышла из комнаты.

— Сейчас Наташа едет. Как он там? — бабушка, совсем измаявшаяся за последний год с лежачим дедом, суетливо бросалась от одного дела к другому. То посуду начнет перетирать, то белье стирать. Она говорила с Дашей, вглядываясь в щелку прикрытой двери. — Врач с утра сказал, что до вечера вряд ли дотянет. Говорит еще иль задремал? И сидеть-то тяжело рядом, да попрощаться боюсь не успеть.

— Да, бабуль. Пока говорит. Ты иди к нему.

Даша подошла к окну. Во дворе малыш бросал птицам кусочки хлеба, и как только они начинали есть, тут же с радостными криками пытался поймать единственного белого голубя. Голубь в страхе убежал, потом снова возвращался, пытаясь ухватить остатки крошек. А малыш все гонял его по площадке. Наконец встревоженная птица полетела вверх, чтобы усесться передохнуть на окне в доме напротив. Даша смотрела, как голубь, хлопая крыльями, быстро постукивал скользящими лапками, пробуя ухватиться за откос. Безуспешно. Коготкам не удавалось удержаться на металлической плоскости. Он порхнул вниз, но, едва заметив бегущего ребенка, снова замахал крыльями, и улетел уже совсем, так и не приткнувшись нигде...

Даша достала телефон. Нашла на сайте номер.

— Алло? Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно поменять билет с четверга на сегодня, рейс Москва—Вена? Сколько доплатить?

Папа

— Так, смотри, доча. Это называется противопехотная мина! Щас мы ее будем о-без-вре-живать, — отец кричит и что-то отворачивает. Ей не видно. — Главное, тут быть предельно аккуратным, а то все нахрен поляжем! — он пьяно смеется.

Ксюша смотрит в экран. Она не помнит, когда видела его трезвым. Когда она его вообще последний раз видела... Варя всегда зовет ее, когда он звонит. Варя хочет быть хорошей дочерью. Может, ждет, что папа вернется. Ксюша уже не ждет.

Отец поворачивает камеру, у него в руках какая-то коробочка, как из-под печенья, только грязно-зелёного цвета. Ксюша не знает, как выглядит мина. Она не верит отцу. Он хочет покрасоваться, произвести впечатление на дочь. Когда-то такие попытки вызывали у неё раздражение и жалость. Теперь — только раздражение.

* * *

Дома невыносимо. Бабушкина однушка. Диван один на троих. Спят двойным вальетом: в середине мама, по бокам Ксюша с Варькой. На отдельные кровати места нет. Мама говорит, почитай Солженицына, поймешь, что люди в бараках и не так спали. Ксюша не знает, кто это. Она не хочет знать про бараки.

Бабка постоянно шмонает ее полку, ничего не спрячешь, не укроешь. Мама говорит, почитай Ремарка, поймешь, что беженцы и не так жили... Ксюша не знает, кто такой Ремарк. Она не хочет знать про беженцев. У нее есть дом. Он целый, он стоит там, где даже не стреляют. Она не просила забирать ее сюда.

Мама говорит, почитай Шаламова... почитай Газданова... почитай-почитай-почитай, поймешь-поймешь-поймешь.

Мама, ты слишком много читаешь, ты не живешь как будто. Почитай меня, мама. Поймешь, как тошно.

Мама с переездом стала разговаривать тихо и ходит она, будто пригибаясь всё время. Вместо школьных сочинений у неё школьные туалеты, коридоры, швабры, тряпки. Учителем никто не взял. Похоже, это её сломило, Ксюша не знает. Ей не хочется видеть такую маму. Маме и самой себя, наверное, видеть не хочется.

Папины родители тоже переехали сюда. Ютятся на окраине у родственников. Папа перевез их после того, как ночью к ним приходили... Дед иногда звонит маме или Ксюше: “Смотрели новости? Вон как мы их покروшили, скоро совсем разбегутся? Твари, в школу попали, там дети невинные, а этим плавать”. Ксюша сочувственно мычит. Если бы она была там, ей бы тоже, наверное, сочувствовали. А она здесь. В “лучшей жизни”. Здешним не сочувствуют. У них же все должно быть хорошо.

— Страшно было? — спрашивали ее одноклассники

Страшно? Если они про войну, то Ксюша не помнит: они уехали загодя, с первыми выстрелами. Страшно было еще за пару лет до того, как весь мир обернулся на их уголок земли. Это она помнит.

Крик. Топот в коридоре, звякнула щеколда. Ксюша высовывается из комнаты. Отец дубасит в дверь ванной, орет. Мама там, внутри. Варька выбегает заспанная, она всегда спит крепче Ксюши, бежит к отцу, плачет, тянет его. Он продолжает дергать дверь, та будто вот-вот оторвется, как в мультиках, и отпружинит вместе с отцом аж до самой комнаты. Варя обвивает отца руками, рыдает. Уходят на кухню. Он дергает ящики, звенят столовые приборы, что-то ищет. Потом снова кричит в сторону ванной. Уходит, хлопая дверью.

Ксюша с Варькой прилепились носами к окну. Темно, высматривают отчаянно. От дыхания окна запотевают, приходится тереть. Вон, вон внизу отделилась тень от подъезда! Идет. Зло идет, не оборачиваясь. Через дорогу гаражи. Ксюша слышит, как Варька начинает шептать: мо́лится, чтобы машина не завелась. Ксюша слезает с подоконника и оглядывает кухню. На стене вмятина: дверца шкафчика ударяется, ее ручка оставляет след — раз за разом, ссора за ссорой. На этот раз посуда на месте, отец только солонку смахнул и корзину с яблоками. Вместе с клеенчатой скатертью свалил. Ксюша поднимает клеенку, на ней виноградные листья и коричневая кладка кирпичной стены. У них такие же обои в коридоре. У половины ее подружек такие обои, тоже как будто клеенчатые. Маме легко их мыть, если отец чем-то швырнет. Мама оттирает их и приговаривает: “Хоть обои менять не нужно”.

Ксюша заглядывает под раковину: бутылок нет. Смотрит вокруг. Под столом одна валяется, прозрачная. Прозрачные самые плохие. После них всегда жди ссоры. Еще бывают коричневые и зеленые. Их обычно больше, но после них отец веселый, и мама тоже.

Ксюша идет к ванной, стучит тихонько: “Выходи, он ушел”. Мама включает воду, какое-то время еще сидит. Потом выходит. Запирает входную дверь на ключ и цепочку: “Идите спать”. Варька берет Ксюшу за руку и тянет в комнату. Они ложатся, но Ксюша еще долго слышит, как мама всхлипывает на кухне.

Наутро Ксюша идет в школу с красными опухшими глазами. Говорить о ссорах родителей нельзя, так Варька велела. Варька взрослая, она лучше знает, у нее даже сигареты в рюкзаке есть, ей подружка отдала на хранение. На вопросы учителей Ксюша врет: прищемила палец с утра или кошка убежала, не нашли.

Отец не всегда был таким. Ксюша помнит: он работает водителем в каком-то управлении. На праздники ему всегда выдают для детей подарки. Вечерами он укладывает Ксюшу с Варькой спать. Папа рассказывает про деда, про его ранения в Афгане. Сам папа мальчишкой гордился своим отцом, таскал в школу его медали. Ксюша не рассказывает про своего папу в школе. У него тоже есть медали из другого места с коротким, резким названием. Чечня. Ему до сих пор платят деньги за то, что он там воевал. Гордо говорит “пенсия”, но ведь он совсем не старый: Ксюша не хочет, чтобы в школе думали, что ее папа уже пенсионер, как дедушка.

Потом — скандал. Она помнит урывками. Отец подрался, сломал кому-то челюсть. С работы выгнали. На новую не берут. В городе всё про всех знают. Он перестал провожать их в школу, лежал допоздна. Да и после школы они теперь редко общались.

* * *

Толстая тетка-соцработник проводила ее в комнату. “Вот, располагайся, это твоя кровать”.

Первый раз в приюте. Мать решила ее проучить: раньше грозила, а на этот раз исполнила — сказала в ментовке, что забирать не будет, они и переслали Ксюшу через опеку в приют на перевоспитание. Мать, конечно, долго терпела, ее понять можно, приводов в детскую комнату уже никто не считал, опека вызванивала каждый месяц, мозг прокапывали, что “надо последствия дать”. Но все же Ксюша до последнего надеялась, прокатит. Обидно, что в этот раз ее забрали просто по дурости. Она даже не пила, просто подошла к парням сигаретку стрельнуть, заболталась, а тут эти нарисовались, с мигалками. И главное — весна на подходе, можно по свободным дачам мотаться, а ее вот закрыть хотят...

Ничего, с матерью разберемся потом. Пока тут осмотреться. В принципе с виду нормальное место. Типа летнего лагеря. У нее даже отдельная кровать. Ого, да тут на три койки в палате отдельный душ и туалет. И тумбочка у каждой своя. По ходу, лучше, чем у бабки.

В комнату влетела толстая девушка с рыжими длинными волосами. Лицо круглое, нос картошкой, вся в веснушках. Ксюхе сразу вспомнился мультик “Летучий корабль”. Такую девушку наряди в сарафан, и прям боярыня, или кто там была эта подбивала “по-любви-хочу”.

— Привет, ты че, новенькая? Как звать?

— Ксюша...

— Ты к нам откуда? Из дурки?

— Не...

— Жаль, а то думала, вдруг ты кого из наших видела, — рыжая окинула взглядом Ксюху, ее кровать, заглянула ей за спину. — А вещи твои где?

— Нету, меня из ментовки сразу сюда.

— Че, и телефона нет? — рыжая недоверчиво прищурилась.

— Не, потеряла на днях.

— Ой, трынди больше! Загнала небось. Без телефона здесь никуда! Но я тебе подскажу, как добыть! — рыжая хитро улыбалась. Ее огромные навывахте глаза превратились в две щелочки. — Я тут всё знаю. Это тебе не дурка, это приют. Здесь все можно, только уметь надо. На, глянь! — рыжая не без усилий выудила из кармана обтягивающих джинсов айфон. Ксюша не знала, какой он модели, она таких и в руках не держала. Но точно знала — айфон.

— Крутяк? А, забыла сказать, я — Ирка! — Ирка протянула телефон Ксюхе, сияя от гордости. — Кучу бабла стоит!

— Да я представляю. Богатая ты...

— Не, я просто красивая. Мне Арик подарил. — Рыжая стянула резинку и начала наскоро заплетать волосы в косу. Косища выходила огромная.

Ксюша, пожалуй, в тот момент завидовала больше Иркиным волосам, чем айфону. У самой на голове росла сухая пакля, сто раз перекрашенная, оттого торчащая в разные стороны. Про “красивая” Ирка, конечно, загнула — за жиром не поймешь, а вот волосы... Волосы и здоровенные сиски... — Ксюша вздохнула. Ни того, ни другого у нее не имелось.

— Так что держись меня, я тебя с нужными ребятами познакомлю, тебе тоже чё-нить перепадет.

— Это здесь, в приюте?

— Ага! Шаз. В приюте одни мелкие. Нашего возраста. Откуда у них айфон. Это там, снаружи! — Ксюха подмигнула. — Арик — мой парень. Он строитель, в общежитии живет. А айфон где-то отжал и мне подарил! — Ирка выхватила мобильник и начала в него тыкать. — На, глянь, это Арик.

— Так он взрослый... — на заставке какой-то усатый мужик по-хозяйски притягивал Ирку за шею.

— Канеш, взрослый! Шутит иногда, мол впаяют ему за меня — “сворачивание малолетки”! — Ирка громко, по-лошадиному, рассмеялась. — Зато мужик нормальный, а не эти, хлопвики местные. Сейчас в приюте из парней только Димка да Леха нормальные. Но Димка — мой, токо подойди, я те так вставлю! — Ирка сложила свои пухлые пальцы в кулак, по ее лицу было непонятно, шутит она или, правда, двинет для убедительности. Кулак выглядел основательным, костяшки в мелких шрамах, видать боевая.

— Да у меня есть там парень, снаружи, — Ксюха прикинула, как бы Мишка отреагировал на статус ее парня... — А у тебя ж вроде Арик?

Рыжая опять растянула улыбку:

— Ну, Арик — это снаружи, а здесь Димон. Тупо так называть, скажи? А этот придурок говорит, зовите меня “Димон”. Я ж сказала, в приюте все парни того, долбанутые. — Ирка картинно постучала себе по голове. — Ну пошли, короче. Че стоишь?

* * *

— Сейчас Клоун съест Бога...

— Что?

— Да вон, смотри. За пальцем моим следи. Видишь вот эту тучу? — Пальцы у Мишки длинные и обветренные. — Вот это нос, ниже улыбка такая кривая, как в ужастиках, а вон — как колпак, видишь?

— Вроде того. А че глаз нет?

— Злу не нужны глаза, оно и так всех нас найдет... — Мишка сказал это с интонацией старой гнусавой озвучки фильмов.

— А где Бог?

— Вон справа медленно подплывает. Видишь: длинные волосы и рука одна вперед тянется: “Покайся, грешник!”...

Они лежали на остывающей сентябрьской земле, иссыхающие травинки кололи через подстеленную толстовку. Толстовка Варькина. Опять будет пилить, если увидит испачканную. Проще выкинуть, сказать, что на вписке увели. Вот так лежать с Мишкой приятно. Только холодно уже. Мать говорит, придатки застудишь, потом детей не родишь. Ну и норм, нафиг еще дети. Растить кого-то, чтобы он так же мучился?

— Барабанная дробь... Нет, надо музыку как во “Властелине Колец”, жутковатую такую, когда орки торжествуют! Уррррк-мэг-тэррррэ-пыд-тэ! Со-жрал.

— Ну, вообще-то непонятно, кто кого. Они просто слились.

— Конечно, понятно. Как в жизни: зло всегда побеждает.

Ксюша выжидала. Ей нравилось, когда Мишка “философствовал”. Он и так старше ее на два года, а в такие моменты прям взрослый. Худощий, правда, и прыщи эти... Зато высокий и умный. Хоть поговорить можно.

— ...Богу не победить зло: мы же его дети, но распустились очень. У твоей мамки вас двое, и то на тебе уже выдохлась. А Бог наплодил нас шесть миллиардов, как тут уследить? Наши развлечения Ему не по душе, но что Он может сделать. Жить нам скучно. Ищем удовольствий. Кто помладше — наркотики или там зацепинг, драки. Мужикам вроде как уже не подходит, им пожестче надо, чтобы адреналин получить. Они и придумали войны. Давно придумали. И ведь сколько веков работает, отвлекает от скуки. Помнишь у БИ-2? “Революция — она похожа на женщину, которая даст

тебе самое большое счастье на свете, но наутро убьёт тебя. Именно поэтому не будет в мире больше революций, потому что не осталось у этой женщины женихов”.

— Так это про революцию.

— Да война по сути то же самое, только с продолжением. Война соблазняет мужчин, забирает себе, и они идут за ней, не видя других женщин.

...Ксюха смотрела на пухлые Мишкины губы, что-то еле слышно напевающие. В профиль он больше тянул на свой возраст. Она все не решалась спросить: они вроде как встречаются или так, друзья? Боялась, рассмеется или вообще подумает, что она того. Они часто бывали вместе. Можно было в любой момент набрать Мишке и пойти шататься куда-то вместе, это грело. А вот определенности все же не хватало. Вообще за последний год ей все больше хотелось внятности, чего-то спокойного, своего, но образ девочки-дурашки, что-то все время невпопад говорящей, был настолько привычен и забавен для знакомых, что менять его было страшновато, да и на что менять — неясно.

— У меня последняя сига осталась. Надо пойти стрельнуть.

Мишка посмотрел на нее и разочарованно отвернулся к небу. Не любил, когда его мысли прерывают. Ксюше нравилось его поддразнивать: слегка, чтобы не думал, что она тупая.

— Бабка говорит: “Бог — это совесть”. Типа всем нам в аду гореть. А когда я в наркологичке лежала, там эти сектанты анонимные говорили, типа, Бог — это любовь. Мол, не страшно, что бы вы ни натворили, главное завязывайте, и Бог все простит, потому что любит.

— Конечно, любит. Вот Клоун его и сожрал. Бог любит и прощает, и Его снова и снова уничтожают.

— Он же бессмертный?

— А толку-то что? Бессмертный — не критерий. Камни какие-нибудь в горах тоже бессмертны, тысячи лет там лежат и еще столько же будут. Но это не значит, что от них что-то хорошее в мире происходит, и надо начать в них верить... Хотя, кстати, было бы неплохо. А что, давай создадим свою веру в вечные камни или океан? Секту слепим, деньги собирать будем.

— Да, денег бы хорошо. Тогда б все отцепились.

— Вот видишь, я ж говорю, зло побеждает: и в тебе меркантильность берет верх!

— Деньги не пахнут.

— Эх, бабка твоя права, в адище нас всех, бесстыжих. Хотя ей-то тоже туда билетик выпишут, мощная она у вас ведьма!

— Не говори.

— Ладно, пойдем, а то холодно. У меня полтинник есть, настреляешь чуть, еще одну банку купим.

— Опять я?

— Мать, ну ты сама посуди, кто быстрее настреляет. Вот ты кому б дала: тебе или мне?

— Я б тебе дала, конечно!

— Я учту, — расплылся в улыбке.

* * *

А меня пули не берут. Сколько раз прямо так бежал, без броника. Не поверишь, первое время думал, пусть хоть подстрелят, все равно жить тошно. Может, хоть поймет, дура, что я не за себя, я ж за них! Извела. Каждый день: деньги да деньги. Потом — алкаш да алкаш. Я мужик, мне выпить нельзя? На ее, что ли, деньги пил? Я военный, мне дело нужно, а не по базарам ходить да домашку у младшей проверять. Она сама училка, вот и занималась бы девчонками.

А я мужик. Воин. Мыдохнем от скуки. Виноваты, что ли, что так устроены? Онидохнут без своих журналов да сплетен, а мы без войны мрем. Но ничего, жизнь, она всё на свои места вернула, напомнила, где я и правда нужен.

Первое время ждал, что одумается, хоть извинится. Уехали к теще, чем не жизнь, в квартире с удобствами, школа рядом, ее мать, если что, на подмоге! Денег на дорогу дал, проводил. А она каждый звонок как заведенная: деньги пришли, деньги. Я тут, бл.., под пулями хожу, а ей только деньги! Что там у них, работы нет, что ли? Сидит, ж...пу свою поднять не может! Девки взрослые: Варька в институте, Ксюха школу дотягивает. Времени у жены дохрена, пойди да заработай! Так задолбала, сил нет! Прислал ей бумаги на развод. Пусть думает. А ей хоть бы что, сказала, подпишет! Тварь. А я тоже человек. Я два года ждал! Пока она перед фактом не поставила, что к мужику переезжает. Невозможно, видите ли, с матерью однушку делить! Конечно, две змеи в одном гнезде.

К мужику, так к мужику. Я даже, знаешь, в тот момент не разозлился. Отпустило как будто. Два года ее не видел, уже ничего к ней и нет. Ну и мне чего одному скитаться. Совесть чистая. Тут долго искать не нужно. Нормальные бабы, они видят, кто стоящий. А здесь одинокой бабе тяжело.

Бывшая пусть теперь рыдает. К матери-то через год снова вернулась. Да только я больше не позову. У меня теперь Маруся. Молодая.

Бесит, что младшую настраивает против меня. Что ни звонок, так мычит просто. Ни тебе “папа”, я уж молчу про что ласковое. Видать, мозг ей пропесочивают, что мать, что бабка. Ничего, подрастешь, Ксюха, сама поймешь, что отец таких вот, как ты, здесь спасает, чтобы жизнь у них нормальная была, чтобы, как ты там, могли они здесь засыпать со своим плеером, а не под артобстрелы.

* * *

— Ну чего, док? — Яныч шагнул навстречу. В пустом коридоре отданной под МПП* сельской школы его тяжелый шаг отдавался эхом. Предутреннее затишье, все отсыпаятся.

— Чего тут топчешься попусту? Хоть бы выпить принес.

— Чего, значит, живой паренек-то? Живой? Я ж тебя расцелую!

— Да иди ты со своими поцелуями, я тебе не баба. Сгонял бы пузырь притащил, почти сутки на ногах.

— Да это я мигом, сейчас ребят кликну!

Окунь глянул вслед подпрыгивающей походке Яныча. Радуетя. Пусть радуетя. Ребенка из-под обстрела вынес. О том, что мальчику скорее всего придется отрезать ногу, он скажет Янычу завтра. А может, вообще не скажет. Главное, живой. Перевозка едет, через час-другой пацана переправят в город в нормальную больницу, там разберутся. Отрежут конечно, тут выбора нет. Но Яныч туда не доскачет. Не до того сейчас, он здесь нужен. Таких вот мальчишек и девчонок сколько ему еще повидать. Скольких притащат Окуню. А скольких не успеют... А все из-за глупости. Людской глупости.

Окунь не любил рассуждать о глобальных вопросах, не любил делить на добро и зло. Но его бесили родители, оставившие детей под огнем.

Ему Бог дал руки. Хорошие руки, не подводят. Дал мозг. Ему дали образование, знания, чтобы спасти жизни. Какая дурость самим делать так, чтобы дети попадали к нему на стол. Не уехать все равно, что ждать смерти. Ладно — мужики: они пришли сюда воевать. Это их выбор, их работа, если угодно. Войны были всегда. Работа военных — воевать. Но дети?! Окружения нет, почему ж вы их держите тут? В блокаду детей переправляли в тыл, зная, что, может, потом не найдут никогда, сколько их растерялось по стране. А теперь — в чем проблема? Да здесь даже на передовой каждый второй солдат выкладывает в сети свои фото, у всех телефоны, скайп, позвонить родным хоть во Владивосток можно. Отправь ты подальше детей — каждый шаг отследить сумеешь, тебе ж самому дышать спокойнее будет. Нет же, сидят, а потом хоронят, рыдают.

* МПП — медицинский пункт полка.

Окунь сломал шариковую ручку. Способ проверенный. Раньше мог пнуть что-то или швырнуть в стену, но сразу кто-нибудь заметит, уставится, обернется или, наоборот, отойдет в сторону. Здесь нервным не место. Война.

Только поговорить не с кем. За его мысли любой пьяный майор ему впечатает. По-своему будет прав: у него своя солдатская правда, он за нее воюет. Он получает за это медали местного отлива и непризнанные там, в реальной армии должности. Потому и сидят здесь такие майоры и подполковники... Не первый год уже. Не вернуться им назад. Здесь они мужики. Герои. А кого из них сейчас в Москву перекинь, да заставь крутиться, чтобы и жилье снять, и семью накормить. Да ладно семью — себя да кошку. И нет их силы, исчезнет вся. И уважения там не сыщешь, хоть обвешайся медалями. Там другая разменная монета. Другие герои. Эта война ценится только теми, кто в ней.

Окунь не такой. Мужики дразнят его терминатором. В шутку. Знают, что на нем весь госпиталь держится. Хотя тот же Яныч догадывается, что он не их породы. Догадывается по тому, как Окунь тихо выпьет свое, пока остальные обмывают шумно новый успех, как отмолчится во время тостов. Он профессионал *своего* дела. Он ехал сюда, чтобы отточить мастерство. Московский хирург. Там, дома, конкуренция лютая. Либо в частной шарашке сиди зевай, либо в больнице аппендициты режь. А в каком-нибудь Склифе или Боткинской таких, как он, одаренных, толпы. Не прорваться. Зачем себе врать — пробиться там не смог. А тут, думал, раз война, то в местных больницах точно пригодится, ценным будет, “столичный врач”, дослужится если не до главного, то хотя бы до завотделением. А через несколько лет обратно с записью в трудовой. Хм, смешно. Просчитался, персонала в избытке: все региональные врачи, кто не уехал, от огня перебрались поближе к крупным центрам. Что ж, логично.

Осталась только военка. Ничего, он не из трусливых. Ему надо двигаться вперед, а не ждать, пока там дома хирурги-пенсииеры уступят наконец место. А здесь он не просто врач на все руки, он параллельно управляет бесконечным организационным процессом. Он и голова, и шея, и весь организм этого госпиталя. Да и травмы такие, что в Москве раз в пять лет увидишь. Опыт, конечно, бесценный. И сам ощущаешь, как мастерство с каждым днем оттачиваешь. Только бы вот не на детях, не на детях же...

Окунь выдохнул, порывлся в кармане. Вторую ручку он сломал еще после полудня: палили бесперебойно, солдат привозили пачками, в основном осколочные. Одного не доглядел. Просто не успел. Внутреннее кровотечение.

* * *

Ксюха идет по подземному переходу. Голоса. Поют. Мелодия знакомая. В детстве из их гаража всегда на полную громкость звучало “Любэ”. Она точно знает, чей это голос. Сначала замедляется, прислушивается, едва ступая, подходит ближе. Люди без зонтов нерешительно выглядывают наверх. Там снаружи дождь. Август выдался мокрым и серым.

Он стоит в центре. У его ног черный кофр, в нем несколько помятых кушюр. Еще двое по бокам чуть сзади с гитарами. Они молодые, погрузневший с годами отец выглядывает на их фоне нелепо. Руки его заканчиваются в районе локтей. Рукава подвернуты так, чтобы обтягивали то место, где прошелся нож хирурга. Так прохожие точно поверят, что ампутированы. Все трое в камуфляже. На груди по паре медалей.

Когда отец месяц назад заявился к ним утром с поезда пьяный, поддерживаемый таким же поддатым дружком, Ксюши дома не было. Ей потом бабушка рассказывала. Мама после этого неделю ходила потерянная, но Ксюша разговоров с ней избегала. А бабушка все причитала, мол, куда же он пошел, как ему теперь жить. Повторяла, что отец передал матери деньги. Десять тысяч. Первый раз за столько лет. Ксюху злило непонятно откуда появившееся бабушкино сочувствие. Нахрена он припёрся! На жалость надавить? Повоевал, а как инвалидом стал, вспомнил, что семья есть? И гордый такой — не остался,

вроде как благородный, пришел помочь, а самому ничего от них не надо. Ксюха нарочно старалась растравить обиду.

Уставилась на отца.

Как много я говорила о тебе. Психологи, врачи, приют, наркологички, реабилитационный центр... Все наши разговоры упирались в детство. В последнем центре я даже врала, что ты умер! Думала, так больше шансов, что не будут спрашивать. Что не придется снова тебя обвинять, ненавидеть. Как много неотправленных писем написала я тебе... Они говорили, что так станет легче, что так выйдет вся боль...

Боль за те ночи с бутылками, за мамины слезы, за наш переезд, за невыносимую жизнь с бабкой. За мамино нового мужика, который оказался таким же пьющим, хоть и тихим. Спасибо, нас никогда не трогал, зато наливал мне от доброты своей. А знаешь, я ведь тогда и начала все пробовать. Сидела с ним на кухне и настойку эту мерзостную пила. И о тебе думала: вот папочка, я твоя дочь, доволен? Отомстить тебе так хотела. Ты ведь первое время все убеждал меня: мол, ты за нас воюешь, чтобы у нас с Варькой было все хорошо. Мне так хотелось, чтобы ты понял, что у нас все плохо. Варька в отличницу играла. В институт перевелась, подрабатывать начала, тебе регулярно звонила. А я, знаешь, решила по-другому. Захотела до дна дойти. До о-олго вроде спускалась. Да только потом поняла, что ты ведь раньше меня туда пошел, и оттуда снизу не замечаешь никого, кто еще не так глубоко спустился. Я сама постепенно перестала замечать тех, кто там, наверху. Но меня, представляешь, вдруг оттуда начали вытаскивать. Заметили и давай звать. Люди стали в жизни появляться нормальные. И снова вниз — не захотелось.

А ты — вот. Стоишь в двух шагах. Но почему-то все это тебе говорить уже как будто незачем... И сердце сжимается от боли.

Отец как почувствовал, среди нескольких зевак выцепил ее взгляд... Петь перестал. Смотрит. Ей сдавило все так, что вдохнуть больно. Ни крикнуть, ни отвернуться.

— Папа, не надо. Пошли домой.

ОПЫТ

Так вот работаешь-работаешь, набираешь тот самый “опыт” для будущих резюме, а ведь как бы хотелось, чтобы какой-то части его вовсе не было. Раз — и вычеркнуть. И уж точно знаешь, что ничего от этого не потеряешь, разве что страх свой умеришь и тревогу. Только нельзя, не отвертеться.

Они спрашивают: не страшно с такими работать? — психи же*! А вам с такими жить — не страшно? Думаете, к нам их засунули и всё: выйдут они здоровенькими и социализированными? Полагаете, что их реально всех держат на учете и отслеживают? Надеетесь, всё под чьим-то надзором?

На работе хотя бы иллюзия есть, что ты что-то контролируешь. Заборчик железный (правда, перепрыгивали не раз, а некоторые потоще сквозь прутья пролезали), двери на магнитном ключе (раз в три месяца вышибают, не чаще), решетки на окнах (посильнее дернул — и отогнулась). Но всё же ты специалист, а им нужна помощь (ну хоть один из десяти это реально признаёт). Даже ощущение тыла какое-то: нет, кнопок тревожных, конечно, нет, это вы фильмов пересмотрели, и качков-санитаров тоже (только тетушки божьи одуванчики со швабрами), но есть вроде как общая фантазия, что если что (даже не хочется конкретизировать), то кто-нибудь услышит или хотя бы вспомнит через пару часов: дескать, где этот наш психолог? Но всё это о другом, о нашем скрытом, внутрибольничном. Калитку закроешь — и осталось все там, до следующего дежурства.

А вот то, что нарассказывали тебе, это, как ни старайся, всё равно поволочешь за собой, в ту, внешнюю жизнь. И не оставишь в кармашке белого

* Елена Тулушева много лет работала в Московском реабилитационном центре для подростков-наркоманов (Ред.).

халата, брошенного на крючок в раздевалке, не закроешь вместе с картой, не вернешь им во время выписки вместе с личными вещами. Поделились с тобой — и уже не отказаться.

Только ведь не спрашивают они, когда делятся, хочешь ты это знать или нет. Думаете, вопросами их заваливаем, выпытываем? Ты только карту заполнять начнешь с базовыми *кто-откуда-почему*, и понеслось. У них за эти тринадцать-пятнадцать лет жизни столько наболело, что им и разрешения не надо — всё на тебя выльют. Иногда просто матом, иногда порционно, обрывками, проверяют, не будет ли им за это чего. К этому привыкаешь быстро. Отстраниться можно: да, тяжело им, да, ты здесь ни при чем, не тебя они сейчас оскорбляют, а всех тех, кто их сюда загнал, кто помогал накопить столько злости и боли.

А потом у них с тобой устанавливается доверительный контакт. И вот тут уже они готовы говорить о себе и о тех, кто с ними это сделал... Вроде как и отстраняешься, но... знаете, вы же в кино тоже сопереживаете тем, на экране? И хорошо всем известно, что это просто актёры и хороший сценарий, что у них будет "Стоп! Снято!", — и все живы-здоровы, пошли чай пить. А здесь всё тоже очень естественно. Только не выйдут они из роли, некуда выходить. И тогда слушаешь и понимаешь, что эта жизнь где-то вокруг тебя, в соседних квартирах, на твоих улицах. Это в твоём городе мальчишке мать ножом пропорола ногу, по пьяни приняв за соседа, это в твоей стране четыре мужика изнасиловали одиннадцатилетнюю девочку, это в твоём мире женщина взяла грудничка из детдома, а когда подростком он начал становиться "гадким ребёнком", она снова вернула его в приют.

И ты сидишь и думаешь — а зачем мне этот опыт? Куда бы его передать... И вот пока сидишь, тебе раз, и что-то там про нож в канализационный сток. Чего, спрашиваешь рассеянно? А он тебе всё с тем же каменным лицом про нож. Который он бросил. В ливневый сток на улице. Зачем бросил? Ерунда какая-то. Я тебя про алкоголь спрашиваю, а ты про ливневый сток. А он методично так повторяет, а ты смотришь на его лицо. Обыкновенное, со стороны и не скажешь, что он у нас в больнице забыл. Крепкий парень, умный, начитанный даже. Избирательно правда, все больше книги вроде "Майн кампф", но читает дотошно, анализирует, всё тебе по полкам разложит. У нас взрослые недовольны, дескать молодёжь не читает, так вот вам, не все у нас унылые геймеры. А он тебе в это время без запинки про то, как человека убил. Так, знаете, как будто анкету заполняет. Графа о себе: хочу убивать людей.

И в конце вишенкой на торте: "Только вы имейте в виду, я такое только вам рассказал, я здесь больше никому не доверяю, я это вообще никому не говорил. Мы решили с пацанами молчать, просто с вами говорить можно". Прошу прощения, хочется спросить, это уточнение мне куда, в копилку бонусов? Или в строчку резюме о своих навыках: вызываю доверие психопатов, располагаю к разговору, берите меня на работу, в каждой крупной конторе психопатов хватает! Авань, всех и вычислим. Кстати, для этого даже и не обязательно, чтобы тебе об убийстве рассказывали, можно просто за чаем спросить, как жизнь. Или вообще ничего не спрашивать, они как-то сами тебя находят. Щедрые люди, желающие своим опытом поделиться. Может, с лицом у меня что-то не то. Может, оно шлет сигналы...

Бывает, в самолете сидишь себе, в книгу уткнешься, никому не улыбаешься, все равно добродушная дама справа нет-нет, да начнет тебе про президента и Навального чирикать. Бурчишь что-то, мол не интересуюсь. А в ответ буря эмоций: ах, вы не знали? Да я вам расскажу, как все на самом деле! Очень вы зря! Вот молодёжь нынче! И давай тебя просвещать, ведь это ж какое благо, что они попались на пути, сейчас поделятся бесценными своими мыслями.

Вот и мне поделиться опытом удалось. А уж куда вы теперь его запихнете — это дело не моё. Сами виноваты, в названии всё честно было сказано.